

## ОБРАЗ ЛЕТУЧЕГО ГОЛЛАНДЦА В ПОЭЗИИ БАГРИЦКОГО

Из воспоминаний В.П. Катаева до нас дошло четверостишие из стихотворения Багрицкого, написанное до появления его первых стихов в печата, в 1912 или 1913 году:

Когда погибал знаменитый «Титаник»,  
Тогда твой мираж трепетал в небесах.  
Летучий Голландец! Чарующий странник!  
Чрез вечность летишь ты на всех парусах! [2; 57]

Здесь существенно и первое появление образа, который будет волновать воображение поэта на протяжении ряда лет и пройдет через ряд его стихотворений и очень характерное для позднейшего Багрицкого сближение времен: катастрофа, произошедшая год или два тому назад, потрясшая современников и еще живая в их памяти, и герой легенды, корни которой восходят еще ко времени великих географических открытий XV века. Согласно этой легенде, Летучий Голландец – смелый мореплаватель, который за свою отвагу и вызов бурям был обречен вечно носиться по бурному морю, лишенным возможности пристать к берегу. С «Титаником» этот образ сближается лишь тем, что, по легенде, встреча с Летучим Голландцем служила предвестием бури, кораблекрушения и гибели. Но уже в приведенной строфе образ этот («чарующий странник») явно возвышен и овеян авторской симпатией.

Были в этой легенде стороны, воспринятые Багрицким, и такие, к которым он остался безразличен. Например, не осталось никаких следов имевших место в XVII веке, поисков «прототипа» Летучего Голландца: назывались голландские мореплаватели ванн Стратен, ванн дер Декен и др., а также присочиненная к легенде мораль: герой легенды, дескать, был, подобно Фаусту, осужден за безбожие.

Зато Багрицкий, конечно, воспринял романтическую трактовку этого образа в западноевропейской литературе, в произведениях В. Скотта, В. Гауфа, Г. Гейне, а знакомство с оперой Р. Вагнера «Летучий голландец» оставило даже документальный след: в архиве Багрицкого сохранилась рукопись под названием «Вагнер», имеющая текстовые совпадения, которые позволяют рассматривать ее как один из вариантов поэтического цикла «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце», а в самом его тексте есть строка «Вагнеровский двинулся прибой», говорящая сама за себя.

Первый серьезный подступ к разработке волновавшей Багрицкого темы датируется 1915 годом, когда появляется стихотворение «Конец Летучего Голландца». Собственно, образ, обозначенный в заглавии стихотворения,

возникает лишь в последней строфе, но ее правильное восприятие возможно лишь после пяти, которые ей предшествуют. Они насыщены густым рядом образов, нацеленных на то, чтобы снизить, прозаизировать картину припортового города, района, прилегающего к пристани и его обитателей.

Все здесь не такое, каким хотелось бы это видеть: гитары надтреснутые, звуки дребезжащие, руки костлявые, «кашляет» охрипшая труба. Таверна заброшенная, матрос напившийся, бранятся два пьяных боцмана, «струится липкий чад», «весь в пятнах от вина передник толстой Марты», луна, уподобленная фарфоровому фонарю, «мерцает утомленно», и бьет волна «о полусгнивший мол». Но там, где проза жизни хоть немного уступает место возвышенному, воспоминаниям о героическом прошлом – глуше пьяниц крик, реже дым табачного угара,

Безумный старый бриг Летучего Корсара  
Раскрашенными флагами поник [1; 228].

В словарном смысле «корсар», конечно, синоним слова «пират», но все же выбор именно этого слова служил поэтизации легендарного, возвышенного символа, оказавшегося волей судеб в такой прозаической атмосфере. Спустя восемь лет Багрицкий вернулся к теме, волновавшей его с юности, чтобы дать ее более масштабное и разностороннее воплощение.

2 марта 1923 г. состоялся литературный вечер, на котором поэт прочел свою только что написанную поэму «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце», которая была в том же году напечатана в одесском журнале «Силуэты». В выступлении на этом вечере Багрицкий предпослал основному тексту своего произведения своеобразное поэтическое предисловие. Оно не вошло в опубликованный текст, в сборниках стихов Багрицкого, если и печатается, то в примечаниях и потому малоизвестно читателю. Между тем для правильного понимания поэмы Багрицкого оно имеет первостепенное значение, не говоря уже о том, что от него тянутся зримые нити к другим в то же время написанным стихам: «Пушкин», «Александрю Блоку».

Позднее, в канун своего трагического конца, восхищавший Багрицкого Маяковский со смешанными чувствами гордости и горечи признается, что он «себя смирял, становясь на горло собственной песне». Нечто подобное, но по-своему переживал и Багрицкий. Оно и нашло себе выход в упомянутом поэтическом предисловии к поэме:

От пролеткультовских раздоров  
(Не понимающих мечты),  
От праздных рифм и разговоров  
Меня, романтика, умчи!  
Я чересчур предался грубым,  
Непоэтическим делам, –

Кружась, как мудрый кот под дубом,  
Цепь волочил я по камням [1; 507].

Не приходится сомневаться в литературном источнике этого образа: это, конечно, первая песнь «Руслана и Людмилы», где «кот ученый / Всё ходит по цепи кругом». Но Багрицкий не только не пошел вслед пушкинскому образу, но и намеренно противопоставил обоих котов. Пушкинский кот свободен, причем не просто свободен, а свободен в творчестве: «Идет направо – песнь заводит, Налево – сказку говорит». У Багрицкого же наоборот: поэт, уподобленный коту, волочит по камням цепь, явно символизирующую пролеткультовские установки и «цепь грохочет влево, влево, Не смей направо повернуть!»

Но не для того он создан, чтобы волочить цепь. Ему послан господом «бродячий удел» и бродяжничество это особого рода – скитания *по фронтам*. Он шел на вражеские полки под Елисаветградом, и гул снарядов ударял ему в виски, он залегал на тендере под Казатином, где мычали чужие бронепоезда, он сражался до утра и делился черным хлебом с красноармейцем у костра. Он заслужил право не терпеть упреков грозных от критика, который

тогда дремал,  
Когда в госпиталях тифозных  
Я Блока для больных читал?..  
Пусть, важной мудростью объятый,  
Решит внимающий совет:  
Нужна ли пролетариату  
Моя поэма или нет! [1; 508].

Как же должно было волновать Багрицкого восприятие его поэмы, если он – едва ли не единственный раз на протяжении своего творческого пути – выразил это волнение так прямо и так страстно! Очень важно здесь и слово «пролетариату». Не «читателю», даже не «народу», а именно «пролетариату». И не от Пролеткульта он ждет ответа на этот вопрос, его решат непосредственно слушатели – «внимающий совет». Вместе с тем были причины, по которым требовательный к себе поэт не включил эту поэму в вышедшие позднее сборники.

Уже из заглавия ясно, что поэма посвящена не только Летучему Голландцу, отодвинутому, кстати, на третье место в перечне предметов изображения, но также морю и матросам. Состоит она из четырех песен: «Песня о море и небе», «Песня о матросах», «Песня о капитане» и «Песня о розе и судне». Им предпослано восьмистишное предисловие, которое является единственной зарифмованной частью произведения. Надо думать, поэт хотел придать ему тональность сказания, на такое предположение наталкивает и пространный эпиграф, вводящий читателя в тематический и образный мир

сказаний о Валгалле. Слов «Летучий Голландец» нет не только ни в одном из заглавий песен, но и в их текстах. Он, конечно, присутствует, но скрыто.

Переходя теперь к анализу каждой из песен, необходимо помнить, что ключ к проникновению в каждую из них заключен не только в том, что в них изображено, но и в том, как это сделано. Первая песня – «О море и небе». Это название, однако, отвечает лишь первой половине стихотворения. И это не те или, по меньшей мере, не такие море и небо, какие молодой Багрицкий мог видеть в своей родной Одессе. Вся система сравнений, составленная поэтом, как бы оживляет изнутри неодушевленные предметы: берега «поросли, шерстью», одна скала «вытянула лапу», другая «присела крабом», третья «плавник воздела каменистый».

Вторая же половина песни вообще не о море и не о небе, а изображает картину пира, насыщенную деталями, воспринятыми из средневековых легенд: «В медные начищенные блюда / Вывалены туши вепрей» «Жаркой медью полыхают шлемы», «Гроыхая ржавыми щитами», и даже природные явления – мигающие в облаках «суетливые зарницы» уподоблены «отблескам от вычищенных шлемов / Жарких броней и мечей широких» [1; 283].

То же неполное соответствие названия содержанию и в следующей «Песне о матросах». Автор разделил его интервалом на две почти равные части: в первой 35 стихов, во второй – 29. Матросам посвящена вторая часть, в первой они лишь появляются в последних строках, выбегая «по сходням с корабля на берег». В первой же изображены рыбы, рыбная ловля, рыбацьи лодки, и внимание к ним поэта настолько глубоко, что даже день и ночь уподоблены рыбам:

День идет серебряной трескою,  
Ночь дельфином черным проплывает... [1; 284].

И весь предметный мир этого фрагмента сгруппирован вокруг этого тематического стержня: «рыбацьи лодки, / Весла и плетеные корзины / В чешуе налипшей», «сети, вывешенные на сваях, Плещут и колышатся», «двинется треска, взовьются чайки / Над водой, запрыгают дельфины», «затрещат напряженные сети, Женщины заголосят».

Но с появлением матросов все, что связано с рыбами и рыбной ловлей, уходит, а внимание сосредоточено на них, сначала на колоритном, живописном, образно многообразном описании их внешности:

Тот – как уголь, а глаза пылают Белизной стеклянного, тот глиной Будто вымазан и весь в косматой Бороде, а тот окрашен охрой, И глаза, расставленные косо, Скользкими жуками копошатся... [1; 284].

Затем – их времяпрепровождение на берегу: встреча с женой, которая протягивает руки к мерзлому оконцу и, покидая жаркие подушки, идет к дверям; драки в трактирах, где взлетают «синеглазые ножи» и застревают в потолочных балках пули, поет, голосит, целуется и ругается «матросская

хмельная сила». А в самом конце – «спокойный голос капитана» – переброс к третьей песне, к «Песне о капитане». Но и здесь поэт остается верен избранной манере: вся первая и большая (19 стихов) часть текста – о стариках окрестных, много повидавших на своем веку и собравшихся в трактире, «чтоб о судне толковать чудесном». Это «чудесное судно», которое в дальнейшем будет еще названо «судно дивное», «таинственное судно», – первое, скрытое, выраженное в сущности лишь намеком, упоминание о Летучем Голландце. И завершается третья песня портретом капитана судна, не того, реального судна, с которого сбегали матросы, – кто увидеться с женой, кто побуяннить в трактире, а именно **таинственного судна**:

Рыжекудрый и огромный в драном  
Он предстал плаще, широколобой  
И кудлатой головой вращая,  
Рыжий пух, как ржавчина, пробился  
На щеках опухших, и под шляпой  
Чешуей глаза окоченели... [1; 286].

И наконец, четвертая, самая обширная и, следует думать, главная часть поэмы – «Песня о розе и судне». Старики, собравшиеся в трактире (в этой песне они именуется «старцы»), встречают капитана недружелюбно и дважды призывают его: «Уходи!». Перед тобой, дескать, «чужие океаны», «пламенный зияет океан», а к нам ты попал по ошибке: южный ветер или заиндевелый пламень звезд «иль буйство рулевого / Паруса твои примчало в бухту...».

Капитана такой прием не смущает: «мореходная покойна мудрость». Откинув плащ и протянув руку, он кладет на стол розу. И тут происходит необыкновенное:

на мокрых досках  
Роза жаркая затрепыхалась...  
И, пуховою всклубившись тучей,  
Запах поднялся, как бы от круглой  
Розовой жаровни, на которой  
Крохи ладана чадят и тлеют.  
И в чаду и в запахе плавучем  
Увидали старцы: закипает  
В утлой комнате чужое море,  
Где крутыми стружками клубится Пена.  
И медлительно и важно  
Вверх плывут ленивые созвездья  
Над соленой тишиной морскою  
Чередой располагаясь дивной,  
И в чаду и в запахе плавучем

Развернулся город незнакомый [1; 286-287].

И одна за другой нанизываются вольные ассоциации – составные создаваемого воображением поэта фантастического мира: город уподоблен птице, которая, распутив хвост и разбросав крылья, прильнула к влаге, чтоб напиться. Плывут облака, встают волны, подымаются и тонут звезды, все грубей и крепче выступают прозаические детали будничной обстановки: утлое окно, сырые бревна низких стен, грубая посуда, и среди черствых крошек, в пролитом пиве лежит, рассыпая лепестки брошенная роза.

А на полу отгиснут шаг покинувшего трактир капитана. У каменистого берега, вздрагивает и мотается судно, наматывается цепь, таща вверх широколапый якорь, чудесным опереньем развернулись паруса, напрягаемые ветром, и судно не просто отплывает, а переносит нас в другой мир, где нет ни рыбной ловли, ни буйства пьяных матросов, ни стариков, судачащих в трактире, а оживают картины далекого прошлого, донесенного до нас строками героических сказаний:

Воют воины... На жарких шлемах  
Крылья раскрываются и хлещут,  
Звякают щиты, в ножнах широких  
Двигутся мечи и вверх воздеты  
Пламенные копья... Слышишь, слышишь,  
Древний ворон каркает и волчий  
Вой несется!..

Чтоб не осталось места ни для каких сомнений, что этот мир – плод фантазии, Багрицкий говорит и о том, что возник он не без воздействия алкогольных паров:

Из какого жбана  
Ты черпал клубящееся пиво,  
Сумасшедший виночерпий? Жаркой  
Горечью оно пошло по жилам,  
Разгулялось в сердце, в кровь проникло  
Дрожжевою силой, вылетая  
Перегаром и хрипящей песней...

И еще одна деталь, скрепляющая повествование о таинственном капитане с легендами о Летучем Голландце: флаг, поднятый на его судне – пиратский!

...и полощется на мачте  
Тряпка черная, где человеческий  
Белый череп над двумя костями [1; 288].

Поэма Багрицкого оставляет открытыми немало вопросов, на которые мы, может быть, никогда не получим ответа. Но к счастью, мы располагаем данным свидетельством, содействующим правильному пониманию этой вещи, которой, как мы знаем, ее автор придавал столь большое значение.

Близко знавший его Ю. Олеша в своих воспоминаниях писал: «Корда-то, очень давно, Багрицкий рассказывал мне об одном своем замысле. "Представь себе... Летучий Голландец... он входит в харчевню. Деревянный стол. Девушка. Он кладет на стол розу. И вдруг все видят: начинается превращение розы... Сквозь нее проступают очертания города... Люди видят город..."»

Я не помню, что рассказывал он дальше. Когда мы хоронили Багрицкого, я вспомнил эту импровизацию замечательного романтика. Ведь это же и есть сущность искусства – эти превращения!

Ведь это же и есть сила искусства – превратить материал своей жизни в видение, доступное всем и всех волнующее...» [2; 35].

К какому времени относится разговор, пересказанный Ю.Олешей, неизвестно. Но мы вряд ли ошибемся, предположив, что замысел, которым поделился с ним Багрицкий, пусть и с некоторыми изменениями, но реализован в «Сказании о море, матросах и Летучем Голландце». Здесь, правда, нет «девушки», но налицо «харчевня», в которую он входит, положенная на стол роза, превращения розы и проступающие очертания города.

А главное – превращения, в которых Олеша, и сам бывший любителем и мастером «превращений» усматривает сущность искусства, превращение материала жизни в видение, доступное всем и всех волнующее.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Багрицкий Э.Г. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов писатель, 1964.
2. Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. М.: Сов. писатель, 1973.

### АННОТАЦИЯ

Статья посвящена судьбе образа, занимавшего заметное место в творческом мире молодого Багрицкого, но не вызывавшего заметного интереса у исследователей поэта. В ней анализируются особенности преломления в стихах Багрицкого легенды о Летучем Голландце, эволюция его подхода к теме и особенности ее разработки. В центре нашего внимания поэма «Сказание о море, матросах и Летучем Голландце», своеобразие композиции, образной системы и стиля этого произведения.

### АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена долі образу, що займав вагоме місце у творчому світі молодого Багрицького, але не викликав особливої цікавості у дослідників поета. У ній аналізуються особливості висвітлення у віршах Багрицького легенди про Летючого Голландця, еволюція його підходу до теми і особливості

її розробки. У центрі нашої уваги поема «Оповідь про море, матросів і Летючого Голландця», своєрідність композиції, образної системи і стилю цього твору.

#### **ANNOTATION**

This article is devoted to destiny of the image that occupied a considerable place in the creative world of young Bagritsky but did not interest researchers of the poet much. Specific features of refraction of the legend about the Flying Dutchman in Bagritsky's verses, evolution of his approach to the theme and peculiarities of its development are analyzed in the article. We have the poem «The Legend about the sea, sailors and the Flying Dutchman», specificity of its composition, its system of characters and style of this creative work in the centre of our attention.